

Елена ЯБЛОНСКАЯ

ПОРА ОТЛЁТА

*Вы воскресили прошлого картины,
Былые дни, былые вечера.
Вдали всплывает сказкою старинной
Любви и дружбы первая пора.
Пронизанный до самой сердцевины
Тоской тех лет и жаждою добра,
Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный,
Опять припоминаю благодарно.*

Гёте (из «Фауста»), перевод Пастернака

1

Я ехала в маршрутке в Москву. Сидящий напротив парень был невероятно похож на одного моего друга, русского немца, уехавшего в Германию двенадцать лет назад. Навсегда.

В те годы в «Литературной газете» появилась статья о русских немцах: «Не хочу, чтобы он уезжал». Я тоже не хотела, чтобы «он» уезжал, но тогда, в середине девяностых, это почему-то казалось неизбежным. Почему? Гораздо сильнее меня тогда расстроила большая фотография в той же «Литературке»: старик в сванке на фоне оплетённых бутылей и связок лука. И подпись: «Грузия, не уходи!» Грузия ушла, но зачем было уезжать немцам, которые появились на Руси задолго до Петра и Екатерины, как и все наши на первых порах «немые» фряны-итальянцы, французы, англичане, шведы? А для меня первой русской немкой остаётся Екатерина Великая, до конца дней своих говорившая с акцентом и всё равно — русская государыня-матушка!

Через пятьдесят лет после Екатерины один потомок шотландцев напишет: «Его фамилия Вернер, но он русский. В этом нет ничего удивительного...» Конечно, Михаил Юрьевич. А ничего, если я пропущу лесковских немцев с Васильевского острова? Дело в том, что Лесков писал не только о немцах, русских, татарах, англичанах, цыганах... Он также написал лично обо мне. Да-да! В «Соборьях» протоиерей Туберозов возмущается поведением ссыльного полячки, который глумится над православным обрядом и вообще всячески мутит воду в застойном уездном болотце. Громы и молнии мечет отец Савелий на головы зловредных ляхов и вдруг добродушно спохватывается: «А впрочем, чего мы гневаемся-то? Ведь уже внуки и даже дети этих поляков будут точно такими, как мы, русскими...»

А я даже не внучка, а пра-пра-пра-правнучка. Понимаете? Но я о немцах.

Моего любимого немца звали Эдвин. Эдвин Теодорович Байер. Имя Эдик ему категорически не шло. Я звала его исключительно Эдькой, официальные лица вроде завлаба Льва Яковлевича величали Эдвином, а ребята — попросту Фёдорычем. Да и на дверях кабинета Эдькиного отца, в молодости — кемеровского шахтёра, а в восьмидесятые — партийно-профсоюзного босса, значилось «Байер Ф.О.». Фёдор Оттович.

Предки Эдьки и с папиной, и с маминой стороны приехали в Россию при матушке Екатерине. Причём Фёдор Оттович приходился мне земляком: я ведь крымчанка,

а дед Отто Байер до революции владел рыбокоптильней в Керчи. Но ещё в большей степени землячкой считал Эдька мою закадычную подружку Тамарку Фераниди, чей папа Константин Герасимович, завкафедрой Воронежского строительного института, был потомком феодосийских греков. А уж бабушка Олимпиада Константиновна, которую все от мала до велика звали тётёй Патей, столь темпераментно беседовала с соседками на улочках тихого Задонска, что приезжая туда с Тамаркой, я чувствовала себя в ялтинском дворе моего детства. Предки Эдькиной мамы — петербургские немцы — были потомственными лекарями, и прадед даже лечил кого-то из великих князей, за что и был сослан в Архангельск в соответствующие времена. Эдькина архангельская бабушка Мария Владимировна Пиккель, профессор-педиатр, выйдя на пенсию, переводила Рильке. С родного языка на родной:

*Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden,
in welchen meine Sinne sich vertiefen...*

*Люблю свои раздумья вечерами,
в них чувства глубины моей духовной;
как в письмах, спящих в уголках укромных,
в них жизнь таится и встаёт пред нами
легендою иль памятными снами...*

К сожалению, ни мама Эдьки, ни тем более Фёдор Оттович почти не говорили по-немецки. А Эдька знал, кажется, только «натюрлих», да и с английским была беда, как, впрочем, и у всех сотрудников нашей маленькой лаборатории. По крайней мере, кандидатский минимум все наши ребята пересдавали многократно с какими-то невероятными приключениями. Кроме меня, естественно, — спасибо английской школе. Это обстоятельство, как ни странно, и определило мою дальнейшую, послеперестроечную судьбу.

Шеф наш Лев Яковлевич, именуемый за глаза просто Яковlichem или Профессором, говорил по-немецки блестяще. А по-английски читал, разумеется, химическую литературу и очень сносно, по-моему, общался с коллегами на международных конференциях, но вот с написанием собственных статей испытывал затруднения. Непрерывно лезть за консультациями к Светлане Ивановне, референту директора Института академика Шумова, было неловко по причинам деликатным. Светлана Иванна, пикантная дамочка бальзаковского возраста, великолепно владела английским — как-никак «ингъяз» плюс лет пятнадцать работы в нашем физико-химическом Институте, но просто и быстро помочь человеку ей почему-то никогда не удавалось. Всё закатывание глазок, хохот, кокетство, «ужимки да прыжки». «Это, конечно, прекрасно, но отнимает слишком много времени», — серьёзно говорил Аркадий, сосед Эдьки по общежитию и аспирант дружественной лаборатории лазерной спектроскопии. А я как-то «без отрыва от производства», кося одним глазом на раствор, медленно капающий из колонки с силикагелем, переводила разнообразные подписи к слайдам, тезисы для конференций, доклады, а потом и целые статьи. Аркадию и прочим «пришельцам» помогала «за шоколадку», а внутри лаборатории эта моя деятельность по распоряжению Профессора стала поддерживаться на официальном уровне.

В голодном девяносто втором, когда мужественный наш Академик со смехом рассказывал на семинаре, как он ходил к Гайдари просить денег на науку и получил «полный отлуп», «Журнал новых химических проблем» потерял нашу статью. Я ездила в редакцию разбираться. «У нас тяжба с Химпроблемами», — жаловался Лев Яковлич Академику. Статью вскоре нашли и благополучно опубликовали, а я осталась в редакции внештатным переводчиком. В девяносто пятом, когда почти все разъехались, а Профессор и Эдька сидели на чемоданах, я ушла в штат редакции. Навсегда. Присутственные дни — вторник-четверг. Очень боялась, что Академик не отпустит. Но старик сказал грустно: «Я вижу, вам там интереснее». Вот почему я еду в настоящий момент в маршрутке «Академгородок — Москва», а сидящий напротив парень необыкновенно похож на нашего Эдьку.

2

Эдвина Байера распределили в Институт после химфака Новосибирского университета. «Он химик, он ботаник!» — провозгласил Фарид Ахмеджанов, переигравший в своё время в студенческом театре все мужские и старушечьи роли из «Горя от ума». Появление химика в нашей лаборатории фотохимического синтеза и катализа было очень кстати. Вам может показаться странным, но беда была не только с английским, но и с химиками. Конечно, Лев Яковлич — великий синтетик, но он то в дирекции, то на учёном совете. Володька Ким — талантливый химик и отличный товарищ, но он вечно на стажировке в Голландии, куда его пристроил заботливый шеф. Остальные — физики: замзавлаб Ашот Саркисович, Фарид да Витька Дедович. Пока не появилась прикомандированная из Баку Гюльшен, я была единственной женщиной, единственной аспиранткой и единственным постоянно действующим синтетиком в лаборатории. Правда, на первых порах очень помогал Профессор.

С Гюлей стало уютнее, но проблем не убавилось. Понимаете, с тем, чем могли помочь наши физики, мы худо-бедно и сами справлялись, а вот установку запаять или капилляр для вакуумной перегонки оттянуть, да и просто посоветовать что, если синтез не идёт... А прикатить газовый баллон или дьюар с жидким азотом со двора притащить совсем даже не тяжело. За этим занятием нас с Гюлей как-то застучал институтский парторг Анатолий Степанович. Все наши мужчины отсутствовали, клянчить азот в других лабораториях не хотелось, мы вдвоём и волокли пятнадцатилитровый дьюар. Потихонечку... Гюля была уже на сносях со вторым мальчиком, а я на пятом месяце. «Сдурели, бабы?!» — страшным голосом возопил Степаныч. Мы бросили дьюар и с ужасом смотрели, как Толя тигриными прыжками несётся к нам из конца коридора. Потом были утомительные разборки на тему техники безопасности, в результате которых Гюлю выгнали-таки в декрет, а у меня с тех пор каждый рабочий день начинался с того, что Ашот Саркисович придирчиво оглядывал мой живот и что-то записывал в свой лабораторный журнал. Ситуация осложнялась тем, что за эту самую технику безопасности у нас отвечал Ашот, будучи мужем Гюльшен. Их роман, кстати, в прямом смысле слова возгорелся из пламени, разожжённого Эддой.

Ашоту было тридцать восемь, и мы думали, что он уже никогда не женится, а так и будет до пенсии говорить Фариду: «Какая девчушка, слюшай! Ты помоложе...» Впрочем, по поводу Гюли даже этого сказано не было. Ашот, казалось, её просто не заметил. Он вообще молчун и давно, ещё до моего появления в лаборатории, спихнул обязанности по инструктажам новых сотрудников на обаятельного и общительного Фариду Равильевича.

Меня, помню, привёл в лабораторию сам Академик. Его инструкция была краткой.

— Пусть здесь всё сгорит, — сказал Александр Николаевич, обводя широким жестом бесценные приборы, — лишь бы вы уцелели, понимаете?

После этого Академик удалился, а Фаридик весело рассказывал, что наша работа не слишком полезна для здоровья, но и вред сильно преувеличен. «Бабочек ловить, конечно, полезнее», — и посмотрел вопросительно. А я на бабочек и не считывала. Вот Тамарка, учась на биофаке Воронежского университета по специальности «Анатомия и физиология человека и животных», представляла свою будущую трудовую деятельность не иначе как в виде командировок в Африку, чтобы «смотреть там на жирафов». А пришлось колоть мышей нашими противоопухолевыми препаратами и наблюдать, как скоро они передохнут. Да и вонь у биологов стоит такая, что даже нам, химикам, становилось не по себе.

Гюльшен тоже проходила инструктаж у Фаридиуса, и он вроде даже вздумал слегка за ней поухаживать, но по рассеянности и легкомыслию тут же на кого-то переключился. На праздновании третьей годовщины своей свадьбы Гюля, смеясь, напомнила ему об этом. Фарид удивлённо вскинул брови, но тут же «въехал» и стал с жаром уверять, что «такое не забывается» и он просто сразу распознал в Гюле Ашотово счастье.

В тот день Эдка что-то такое паял на газовой горелке, а Гюльшен с кюветой в

руках бродила неподалёку между вакуумной установкой и спектрофотометром. Мы с Ашотом, почуяв запах гари, одновременно выглянули из-за перегородки и увидели, как Эдька с невозмутимо-каменным лицом изо всех сил лупит Гюлю по заду асбестовым одеялом — это такая пропитанная асбестом тряпка, в мирное время используемая для завёртывания колб при перегонке. Ничего не понимающая Гюльшен в ужасе возвела на меня и Ашота огромные вопрошающие глаза. «У вас хвост горит», — любезно объяснила я и захихикала. Пожар был мгновенно потушен, выгорела только маленькая дырка на халате.

Ашот проявил необыкновенную активность: слетал к хозлаборантке и приволок новый халат, что было делом нелёгким — нам выдавали их раз в полгода. Пока Гюля снимала прожжённую спецодежду, Ашот протягивал дрожащую руку к пострадавшему месту, тут же, закрывая глаза, отдёргивал и умоляюще взывал ко мне: «Наташшя, Наташшя! Посмотрите, оно сильно сгорело? Мне же неудобно!» Потом он потребовал, чтобы Гюльшен пошла домой «отдохнуть». Она с возмущением отказалась: «У меня же эксперимент!» Тем не менее, после окончания эксперимента Ашот Саркисович лично отправился провонять погоревшую, забегая вперёд и открывая перед ней все двери. Ну, а потом Гюля как-то очень легко, почти «без отрыва от производства» нарожала одного за другим, как говорили, целую футбольную команду сливовоглазых мальчишек. «Пять или шесть сыновей, Ашот?» — любил пошутить Лев Яковлич. Парней было трое.

На Гюлиной свадьбе свидетелем, тамадой, массовиком-затейником и Бог знает кем ещё был, конечно, ближайший друг Ашота Фарид, мастер разного рода розыгрышей и вообще артистическая натура. Особенно много веселья он учинял в общепитии на первое апреля. Когда-то, ещё до Ашотовой женитьбы, Фаридиус с помощью сложной системы верёвочек установил ведро с водой над дверью в комнату своих физтеховских однокурсников из Института физики полупроводников. Однако вместо ожидаемой жертвы явился и был облит Ашот. Фарид потом долго, в разных компаниях изображал солидного Ашота Саркисовича, с отвращением отрывающего с лацканов пиджака не очень чистую воду: «Надел пиджак, пошёл к друзьям...» И хотя Фаридик чистосердечно каялся, Ашот ему, похоже, так и не поверил. Он думал, что Фарид благородно взял на себя чужую вину.

В нашем Институте товарищ Аветисян А.С. был важной персоной: по партийной линии экзаменовал сотрудников, уезжающих в заграничные командировки, и многие могли его бояться. Правда, невозможно поверить, чтобы он когонибудь «завернул», тем более в отместку. Какое бы девственное незнание коммунистического движения той или иной страны ни проявлял отъезжающий, Ашот, укоризненно вздыхая, подписывал бумагу и непременно вручал аккуратную шпарталочку: «Прочитайте, прошу вас, в райкоме могут спросить...»

Нам с Эдькой и Витькой Дедовичем тоже довелось участвовать в театрализованном действе, организованном неумолимым Ахмеджанчиком. Отмечалось присвоение Профессору Государственной премии. Повод был, скорее, печальным, потому что премию дали, когда двух сотрудниц из трёх человек авторского коллектива уже не было в живых. Рак. Всё-таки наша работа, увы, не ловля бабочек... Лев Яковлевич был настроен очень минорно, и чтобы празднование не вылилось в полноценные поминки, решено было внести бодрящую струю. Написали сценарий. Фарид изображал самого Профессора, а мы трое — сами себя. Представление устроили до прихода народа из других институтских подразделений, потому что спектакль призван был отобразить внутреннюю жизнь исключительно нашей лаборатории, недоступную пониманию «пришельцев». Собственно придумывать ничего не надо было. Каждый Божий день начинался с того, что Профессор являлся на работу ровно в восемь тридцать и, расшвыривая стулья, метался по комнате: никого из нас ещё не было. Наконец, приходит, например, Дедович.

— Чем обязан? — с горьким сарказмом вопрошает шеф. — Виктор, вы хоть приблизительно представляете себе, который час?

Дед что-то такое мямлит. Заходит Эдька, лицо каменное, «нордическое».

— А вы, Эдвин, отдаёте ли вы себе отчёт...

Наконец, мой выход.

— А ведь я менее всего ожидал такого отношения от вас, Наталья! Драгоценное аспирантское время...

Актёры давились от смеха. Фарид, носясь по комнате, по-моему, очень похоже изображал шефа, взлохмачивая жёсткие татарские волосы, а сам виновник торжества вежливо улыбался и себя решительно не узнавал. По крайней мере, медового цвета глазёнки трёхлетнего Яшки, сидевшего на коленях дедушки, выражали гораздо больше понимания, а когда Фарид отшвыривал очередной стул, Яшка басовито хохотал. Ну, а больше оценить наше творчество было некому. Кимыч, как всегда, в Голландии, от Ашота слова не добьёшься, он только усмехался, откупоривая бутылки, а Гюля с супругой шефа Эсфирь Самойловной хлопотала на кухне...

3

Я вспоминала всё это давнее, молодое, весёлое, и мне очень хотелось, чтобы сидящий напротив парень вдруг оказался нашим Эдькой. Двенадцать лет назад, когда я видела моего друга в последний раз, ему было тридцать шесть, но выглядел он примерно так же, как этот парень. А теперь... Но, кто знает, может, там, в Германии, мужики хорошо сохраняются? Это ведь не Америка, откуда все наши люди, задуманные и бывшие на родине очень худыми, приезжают подёрнутые противным жирком поверх костей. Парень сидел, уткнувшись в какие-то бумаги, и на меня ни разу не посмотрел. Может, спросить его: «Молодой человек, вас не Эдвином зовут?» Глупо. И я продолжала вспоминать.

Многие, в том числе Лев Яковлевич, полагали, что мы с Эдькой созданы друг для друга и поженимся. А нам это — честно! — и в голову не приходило. Уж очень хорошо было дружить. Да и «пресный он какой-то, без изюминки», как осторожно, боясь меня обидеть, сказала Тамарка. Я не обиделась, понимая, что Тамара невольно сравнивает Эдьку со своим папой, черноусым хохотуном и остроумцем Константином Герасимовичем. Вот уж кто одна сплошная изюмина! Да и мой Андрей как-то рассказал в общежитии в перерыве между танцами про низкотемпературную сверхпроводимость так, что все рты пораскрывали. Соловьём пел...

Нет, Эдька не был пресным, он был нормой, воплощённым здравым смыслом, и только ко мне относился как-то уж чересчур восторженно. Я была для него идеалом русской женщины, той, что «в горящую избу и коня на скаку», и одновременно с непостижимо возвышенной славянской душой. Я и вправду была тогда... бесстрашная, что ли... Могла сказать в лицо «Какая низость!» какому-нибудь Игорю Валерьевичу, осмелившемуся при мне учить своего дипломника подставлять не получившись в эксперименте точки на график — «Они же всё равно должны там быть!» А как-то в автобусе отхлестала по физиономии пьяного, ругавшегося матом. Пьяный всю дорогу до Москвы под хохот пассажиров кланялся, прижимая руку к сердцу, и говорил: «Простите, барышня!» Наверное, именно поэтому я и была «любимой аспиранткой Профессора и Академика», как звали меня все в Институте. Не за научные же успехи они меня любили, тем более что успехи-то вовсе и не мои, а Льва Яковлевича.

Да, защитилась я быстро и успешно, как, впрочем, и Эдька, да и все остальные ученики нашего замечательного шефа. Мы с Эдькой одновременно были отпущены в «творческий отпуск» писать диссертации. Эдьке, правда, писательство давалось с трудом, и он каждый день бегал в Институт подsunуть Профессору на проверку вымученные страницы своего литобзора. А я быстренько, за месяц всё накатав (компьютеров в восемьдесят шестом году у нас ещё не было!), с удивлением читала взятых в библиотеке «Братьев Карамазовых». До этого, познакомившись в школе с «Преступлением и наказанием», я не только считала невозможным читать Достоевского, но даже боялась держать его книги дома. К сожалению, на десятой книге «Карамазовых» Профессор «отозвал» меня из отпуска.

— Эдвин, скажите Наталье, пусть выходит на работу, — сказал он сурово, — я знаю, она давно всё написала.

И добавил зловеще:

— Она не пишет. Я знаю, что она делает там, в общежитии...

— А что? — испугался Эдька.

— Спит она там, вот что!

Это была суцая правда. Я отсыпалась, кажется, за всю жизнь, с умилением вспоминая слова однокурсницы: «Сон — это святое!» Однако в аспирантском общежитии с нашим студенческим девизом никто не считался. Ночи напролёт болтали, хохотали, пели, читали стихи и разучивали акробатический рок-н-ролл прямо в холле нашего «взбесившегося» седьмого этажа. После бурно проведённой ночи я дрыхла часов до двух и выползала на апрельское солнышко, когда сотрудники институтов шли домой обедать.

Дрожит и переливается хрустальная синь, отражается во всех бесчисленных лужицах, ручейках, озерах талой воды. И вездесущее солнце, которого, оказывается, так много, смеётся из всех посверкивающих, подмигивающих водных зеркал. Я подставляю лицо под солнце и синь и плыву, плыву, качаюсь в волнах переливчатого света... Вот идёт, аккуратно переступая через ручьи остроносими сапожками, дама в красивой шали, элегантно повязанной поверх демисезонного пальто. Это Тамаркина шефиня Цветана Георгиевна. Она явно благоволит ко мне:

— Наташенька, здравствуйте! Вы печальны? Я принимаю в вас участие... Проблемы? Рассказывайте!

Что ж, проблемы есть. Например, давно, уже с полгода болит зуб. То есть не болит, а как-то ноет и дёргает. Наверное, режется зуб мудрости. К врачу? Нет, это невозможно, защита же на носу!

— Конечно, защищаться без зуба мудрости было бы опрометчиво, — серьёзно говорит Цветана Георгиевна, и только мудрые сорокалетние глаза смеются.

— Нет, правда, Цветана Георгиевна, и с работой вот тоже... Помните, я докладывала на семинаре про эти триады с хинонами? Так вот, кинетика по ним не воспроизводится!

— Нам бы вашу воспроизводимость... — вздыхает Цветана Георгиевна.

Ну, у вас живые системы, а мы должны... Нет, в диссертацию они, конечно, не вошли, материала и без них хватает, но Лев Яковлевич считает, что после защиты к ним надо вернуться. Разумно? Да, но как противно! Почему? Да потому, что после защиты всё будет по-другому! Что, например? Ну, как же! Я буду не аспиранткой, а постоянным сотрудником, и профкомовцам придётся дать мне путёвку в Среднюю Азию. На поезде! Бухара, Самарканд! Представляете? Или вот ещё на Кавказе я никогда не была. Также есть путёвки. Гюльшен с Ашотом каждый отпуск объезжают своих родственников в Азербайджане и Армении, и Гюля особенно восхищается каким-то Ленинаканом, где живёт почти столетняя Ашотова бабушка, говорит, это «город армянской интеллигенции». Почему сейчас не дают? Так я же аспирантка, по их понятиям не человек.

— Но вы же член профсоюза! — возмущается Цветана Георгиевна. — Я поговорю с ними. Куда вы собрались? В Самарканд?

Личная жизнь? Мы с Андреем поженились в октябре, через полгода после этого разговора с Цветаной Георгиевной, но прозрачным и звонким апрелем всё почему-то казалось очень сложным. Андрей, у которого на работе вечно что-то не ладилось, ревновал меня к диссертации, Профессору и Академику: «Ещё бы не защититься с такими шефьями!» А я ревновала его к Нонке, пеговолозой очкастой девице, носившей по коридорам Института на стоптанных, покосившихся каблуках.

— Да, грустно, — вздыхает Цветана Георгиевна. — А между прочим, Наташенька, сколько вам лет?

— Двадцать шесть! — радостно выпаливаю я, и Цветана Георгиевна по-девчоночьи смеётся, запрокинув голову, и я тоже смеюсь, глядя на неё, и солнце смеётся...

Вечером зеркала подёргиваются зеленоватым ледком, в них отражается спокойная луна, спелым дынным цветом своим обещающая скорое лето, а мне встречаются совсем другие персонажи. Вот прыгает по лужам — «Наталья, привет!» — вертлявая Светлана Иванна. А вот задумчиво шагает сам Академик. Он предпочитает работать по вечерам. Светлана Иванна что-то такое печатает на двух машинках, русской и английской, кажется, они назывались «Ятрань». Временами пустые и гулкие коридоры Института оглашаются её резким хохотом. А Академик обзванивает всех завлабов по очереди — обсудить механизм реакции. Начинает он всегда с нашего Льва

Яковлевича, зная, что тот укладывается спать одновременно с внуком Яшкой ровно в полдесятого, сразу после просмотра программы «Время». Разговор с Яковличем обыкновенно заканчивается так: «Да, поздно, я тоже уже плохо соображаю. Спокойной ночи!»

— Здравствуйте, Александр Николаевич! А я, кажется, диссертацию написала.

— Почему «кажется»? — нарочно строго говорит Академик и смотрит ласково.

Да, все получалось, всё катилось само собой в этом самом счастливом для меня восемьдесят шестом году. Это был год Чернобыля и нашего бесшабашного счастья, когда так беззаботно высились лиловые пирамиды иван-чая на песчаной горе за густо-коричневой от торфа речкой Чернавкой и так вкусно и горько пахло землёй и ботвой на картофельном поле, теперь густо застроенном диковатого вида коттеджами «новых русских».

4

В то лето мы под предводительством Аркадия ходили на байдарках в Карелию по реке Шуе. Шуя время от времени выливалась в огромные озёра, нанизанные на неё, как бусины разных форм и размеров. «Надо же! Как море!» — удивлялись мы, а услышавший это мальчишка с берега взволнованно кричал: «Это не море! Это речка Шуя! Шуя!»

— Правда? А мы и не знали! — отвечал Эдька.

Ему, как самому сильному, было доверено везти слабейшее звено — Нонку. Эдька при ладной, но отнюдь не «шварценегеровской» фигуре был и вправду очень сильным.

— Вы знаете, Наташа, у нашего Эдвина сила в руках... необыкновенная! — с нескрываемым восхищением говорил мне Лев Яковлевич после того, как Эдька нечаянно раздавил руками стеклянный водоструйный насос.

Кстати, грубовато-привлекательными чертами лица Эдька как раз на Шварценегера и походил, но это я только сейчас поняла, разглядывая парня в маршрутке. А тогда, в Карелии, в очередной раз проявился Эдькин характер — «стойкий, нордический».

Мы с Андреем и шедшие первыми Тамарка с Аркадием одновременно услышали непрерывный на одной ноте крик: «А-а-а-а!» Кричала Нонка, умудряясь каким-то непостижимым образом стоять в байдарке с веслом наперевес. Закатные лучи жутковато отражались в очках, длинные по пояс волосища развевались по ветру! Эдька невозмутимо грёб — лицо каменное. Так и плыли довольно долго. Оказывается, Нонка требовала пристать к берегу по каким-то тонким психологическим мотивам — к причинам физиологического свойства Эдька бы снизошёл.

После длительной разборки у костра и мучительных раздумий Аркадия (Академик назвал бы такое поведение руководителя «проявлением преступной нерешительности») Нонку пересадили к Андрею, а я поехала с Эдькой. Нонка усердно гробла, внимательно слушала Андрея, который с жаром что-то рассказывал, иногда даже бросая весло, наверное, про низкотемпературную сверхпроводимость. А мы с Эдькой легко и привычно молчали. Ветер стих. Мы плыли по неподвижной жемчужно-серой озёрной глади. Я наслаждалась гроблей: «Как здорово, правда? И совсем не трудно!» Эдька почему-то не восхищался и мрачнел. Я, наконец, догадалась: «Ты, наверно, устал? Хочешь, я сама погрёбу? Мне так нравится...» Эдька послушно положил весло. Я гробла с упоением, но через какое-то время заметила, что раздвоенная сосна на берегу почему-то всё не отстаёт от нас. Потом нас обогнали удивлённо взглянувшие Андрей с Нонкой. А Эдька повернулся и с интересом меня рассматривал. Мой вклад в гроблю был нулевым!

На другой день, когда мы полёживали после купания на нагретых рассеянным северным солнцем гранитных плитах, Эдька надо мной потешался:

— Смотри, Андрей, у Наташки нет трицепса! Вообще! Это же феномен! Чудо природы!

— Зато у неё есть зуб мудрости! — огрызнулся Андрей.

Веселья было много. Нонка познакомилась в лесу с местным дедом.

- Мы тут все химики, — рассказывал дед, шамкая беззубым ртом.
- Мы тоже химики, — с достоинством поддерживает разговор Нонка.
- Такие молодые? — удивляется дед.

Оказалось, химиками назывались отбывающие наказание на поселении самогонщики, тунеядцы и прочие деятели такого сорта.

Мальчишки ловили рыбу, а мы ходили по ягоды, высыпавшие сказочной рубиновой мозаикой по ярко-зелёным пушистым мхам. Как-то путь в лагерь мне преградило большое стадо коров без пастуха, переходившее ручей по маленькой насыпи. Коровы были какие-то странные, поджарые и без вымени — мясная порода, что ли. Этим животных я опасалась. А каждая, став на насыпь, вопрошающе на меня смотрела. «Проходи!» — говорила я. Корова послушно трогалась, но на её место заступала другая. Казалось, им не будет конца. «Проходи!» — я поставила на мох котелки с земляникой. От этой повинности меня освободил Эдька, появившись на опушке. Он засмеялся и шлёпнул ближайшую к нему корову по черно-белому костистому задку. Все коровы будто только и ждали этого — не обращая на меня внимания, радостно бросились одна за другой через ручей.

А вечерами сидели у оранжевого огня, и я подбирала на гитаре (Андрей не хотел её брать, но вот — пригодилась!) песню, услышанную в вагоне от студентов в стройотрядовской форме:

Размытый путь и вдоль — кривые тополя.

Я слушал неба звук — была пора отлёта.

И вот я встал и тихо вышел за ворота,

Туда, где простирались жёлтые поля...

— М-м-м... Та-та-та... Эдька, не помнишь, как там дальше?.. Та-та-та-та... А издали тоскливо пел... гудок совсем чужой земли, гудок разлуки...

— Но, глядя вдаль и в эти вслушиваясь звуки, я ни о чём ещё тогда не сожалел... — подсказывал Эдька, а после песни сказал тихо:

— Я, ребята, чего-то нашего Кимыча вспомнил...

...И вдруг такой тоской повеяло с полей!

Тоской любви, тоской былых свиданий кратких.

Я уплывал всё дальше, дальше — без оглядки

На мгlistый берег глупой юности своей...

К Андрею Эдька относился с необыкновенным уважением: «Андрей тоже так думает?», «А Андрей тебя отпустит?» — в этот самый карельский поход, куда Андрея поначалу не хотели брать, как никогда в глаза не видевшего байдарки. Взяли по настоянию Эдьки. А до появления Андрея Эдька даже пытался выдать меня замуж. Подходит как-то с таинственным видом:

— Наташка, мы с Аркадием решили познакомить тебя с Кандидатом.

— Это ещё кто?

Оказывается, действительно кандидат наук, младший научный сотрудник из лаборатории Аркадия.

— Ты не смотри, что он... халявый, — с запинкой говорит Эдька, — он умный парень...

— Что значит «халявый»?

— Ну, пофигист...

Я выждала недели две.

— Ну и где ваш Кандидат?

— Ты знаешь, Наташка, — Эдька замылся, — мы с Аркадием решили, что он тебя недостойн. Тебе надо москвича!

Да, Москва была моей печалью. Сибиряк Эдька не понимал этого, но очень сочувствовал. А я тосковала по студенческим временам, по моему институту на Малой Пироговской в старом здании Высших женских курсов, по скверу Мандельштама (не поэта, а, кажется, физика), в который мы бегали между лекциями смотреть на уток и есть пончики, по общежитиям на «Студенческой», заматаемым в летнюю сессию тополиным пухом... Да и за каждой пуговицей или, скажем, «молнией» для юбки надо было в те годы таскаться в Москву — в Академгородке на двадцать тысяч жителей был один-единственный универмаг. Я и ездила каждую субботу независимо от

погоды, ходила по любимой Маросейке, теперь заставленной машинами, а тогда совершенно пустой улице Богдана Хмельницкого, где, кстати, был целый фирменный магазин «Пуговицы», и твердила про себя, как молитву:

Опять опавшей сердца мышцей
Услышу и вложу в слова,
Как ты ползёшь и как дымишься,
Растёшь и строишься, Москва...

В Москву приходилось ездить и по работе, мы постоянно вели совместные исследования с московским филиалом нашего Института. Маршруток не было, как, впрочем, не было и пробок, но всё равно приходилось по полтора часа тащиться со всеми остановками по совершенно пустой дороге в рейсовом автобусе, называемом «скотовозом». Взять билет на экспресс было почти невозможно, да и разница в стоимости была ощутимая — 37 копеек, обед в институтской столовой. На «скотовозах» запросто ездили и иностранцы, частенько приезжавшие в Институт «по обмену». Лев Яковлич как-то принялся рассказывать про злоключения на московском автовокзале гостившего у нас доктора фон Хауффе.

— Он встал в очередь на автобус. Автобус подошёл, все, конечно, бросились без очереди, автобус ушёл, он остался... — бубнил Профессор. — Образовалась новая очередь. Когда подошёл второй автобус, все опять бросились... Он в третий раз встал в очередь...

— Да что вы нам-то рассказываете, Лев Яковлич? — не выдерживал Дедович. — Будто мы не ездим на этих автобусах...

— А я потому именно вам, Виктор, это рассказываю, — вдруг взбеленился шеф, — что это именно вы ездите на этих автобусах! И мне стыдно за вас! Дитрих говорит: «Я понимаю, что штурм автобуса есть ваш национальный спорт, но зачем же они в очередь становятся?!»

Можно подумать, Лев Яковлич сам никогда не ездил на «этих автобусах»! Праведный его гнев, судя по всему, подкреплялся в значительной степени тем, что не далее как позавчера, сама видела, шеф гнался за увозившим меня «скотовозом» и, не догнав, даже грозил вослед беретом, сорванным с лысой головы. Лысина Яковлича обрамлена жёсткими седоватыми кудряшками, отчего доктор химических наук и лауреат Государственной премии выглядел таким разгневанным фавном в сбитом набекрень жиденьком лавровом веночке.

5

А сейчас мы стоим в пробке на полпути к Москве, и я мучаюсь вопросом — Эдька или не Эдька сидит напротив меня в маршрутке? Конечно, я сильно изменилась, но мой голос Эдька узнал бы сразу. Надо позвонить. Кому? На работе ещё никого нет. Мужу?

— Андрей! Андрей! Ты слышишь? Это я, Наташа! Ты слышишь? На-та-ша!

— Понял. Чего тебе? — Андрей терпеть не может, когда его беспокоят на работе.

— Андрей! Мы тут в пробке стоим...

Андрей бросил трубку, а «он» и ухом не повёл. Наверное, это не он — Эдька не мог забыть мой голос.

— Наташка, когда ты поёшь, я чувствую себя русским, — говорил он.

— А ты и есть русский, — обязательно отвечал ему кто-нибудь из наших, Фаридик — весело, Гюля — ласково, Ашот — значительно, подняв вверх указательный палец, Тамарка — застенчиво, а Аркадий — как всегда, очень серьёзно. А Володька Ким, если не обретался в Голландии, обязательно запевал или декламировал «кимовское» же: «А я простой советский полукровка и должен убираться в свой Пхеньян!» Мы, кстати, так и не узнали, был ли Кимыч в самом деле полукровкой или сто процентным корейцем. Нас это совершенно не интересовало, потому что...

— Да Владимир больше русский, чем мы все тут вместе взятые! — сказал в сердцах Анатолий Степаныч Игорю Валерьевичу.

Они о чём-то спорили в «курилке» на лестничной клетке, ожесточённо тыча окур-

ки в края металлической урны, а я поднималась по лестнице, и на моё «здрасьте» добрый Степаныч вдруг окинул меня совершенно не свойственным ему хищным взором. Вскоре всё объяснилось. Наши партийные деятели обсуждали кандидатуры молодых сотрудников для приёма в партию. Володька Ким, впрочем, не подходил им не по национальному, а по половому признаку — по разрядке требовалась «женщина комсомольского возраста». На меня напали.

— Вы, конечно, думаете, что в партии одни проходимцы и карьеристы, — обиженно говорил Академик.

Нет, я так не думала. Коммунистами были наши отцы. Не знаю, как Фёдор Оттович, а Константин Герасимович и мой папа вступили в партию, уже сделав карьеру. Да и что плохого, если партия поможет человеку занять достойное место? Вот если бы туда взяли моего Андрея! Вечно у него эксперимент не идёт, «крокодил не ловится», а шеф без конца меняет тему диссертации! А я и без партии защищаюсь через полгода. Наверное, женщины там тоже нужны. В партию вступила в сорок восемь лет на пике своей карьеры — преподавателя техникума — мамина подруга тётя Лиля.

— Лилька?! В партию? Вот старая ведьма! — с одобрением говорил папа.

На вопросы приятельниц «зачем» тётя Лиля обыкновенно отвечала:

— Должны же быть и в партии хорошие люди!

Кроме папы и тётя Лили, в партии были и другие хорошие люди — наш Ашот, например, или Анатолий Степаныч, отличный, между прочим, мужик. Да и сам академик Александр Николаевич, про которого японский профессор Танака сказал мне в девяносто втором году на Международном симпозиуме по катализу: «*since communist*» — искренний коммунист! Нет, я ничего не имела против партии. Но сидеть после работы на партсобрании, когда дома, как волк в клетке, мечется из угла в угол несчастный Андрей, опять запоровший эксперимент или поругавшийся с шефом, а наш единственный стол завален грязной посудой... Да даже если у Андрея всё относительно благополучно, как слушать «унизительную болтовню» Игоря Валерьевича, когда столько интересного вокруг, надо успеть прочитать все выписываемые сообща журналы — «Новый мир», «Москву», «Знамя», «Наш современник»... Всеобщий журнальный бум начался позже, с восьмидесят девятого-девяностого, и мы очень гордились, что так предвосхитили ситуацию. Так что от вступления в партию я, что называется, «отползла».

Неожиданно оказалось, что в партию хочет... Нонка.

— Тебе-то это зачем? — изумлялись мы.

— Надо занимать активную жизненную позицию, — Нонка непримиримо сверкала очками, — и брать от жизни всё!

Проще говоря, Нонка, по выражению прямолинейного Дедовича, рассчитывала найти мужа среди «партийных членов». И представьте, скоро нашла! Миша, математик. Кажется, неплохой парень?

— Карьерист! Семья карьеристов! — фыркнул Эдька.

— А ты разве не карьерист?

— Я — как Лев Яковлич! Только через науку!

Да, Эдька был химик, и только химик, и ещё раз химик. Химик от Бога. Бывало, суёт мне под нос бюкс со сверкающими белоснежными кристаллами:

— Ты посмотри, какой «компаунд»! Стопроцентная чистота!

— Ну и зачем нам такая чистота? — отмахиваюсь я, а через полчаса взываю: — Эдь, ну почему оно? Я же всё по прописи делала...

— В осадок выпал? С кем не бывает, — ангел-хранитель принимает от меня злополучную колбу, внимательно вглядывается в содержимое «на просвет» и как бы невзначай легонько побалтывает. Осадок чудесным образом растворяется, и после соответствующих манипуляций «по прописи» и мой «компаунд» был выделен, как говаривал шеф, в «товарном виде» и с вполне приличным выходом.

Конечно, мы с Гюльшен эксплуатировали Эдьку в хвост и в гриву. До сих пор стыдно. Гюля, та хоть закармливала его домашней выпечкой, а я даже посуду мыла не очень, знаете... То есть вполне нормально, но Эдька для своих синтезов и посуду требовал сверхъестественной чистоты. Даже Лев Яковлич удивлялся, глядя, какой безукоризненно ровной плёнкой стекает дистиллят по дну вымытой Эдькой кол-

бы. Постепенно выработалась практика, когда Эдька в ответ на мои бесконечные просьбы требовательно говорил: «А что мне за это будет?» Я как-то отшучивалась, а однажды, когда всё валилось из рук, устало лягнула: «Да всё, что угодно!» Вертевшийся рядом Фарид сказал «О!» Эдька почему-то пунцово покраснел, а Лев Яковлич, шурша бумагами, поспешно вылезал из-за заваленного статьями письменного стола:

— Что там у вас? Термопара? Я сделаю... Позвольте, Эдвин...

Впрочем, скоро Эдька, как ни в чем не бывало, снова говорил «а что мне за это будет?», а на моё «всё, что угодно!» очень кокетливо отвечал: «Этого мало!» А там и Профессор, обсуждая со мной новый сложный синтез, выразался в том духе, что «на этой стадии вам Эдвин поможет, как вы говорите... гм... за всё, что угодно!»

Вообще-то так получилось, что в нашей лаборатории каждый сотрудник нёс определённую «общественную» нагрузку, которая была по плечу только данному конкретному лицу. И по общему сочувственному признанию, самая тяжкая ноша досталась Гюле.

6

В Академгородке в те годы почему-то принимал турецкий канал, показывавший бесконечные «мыльные оперы», а на отечественном телевидении тогда присутствовало, если помните, только латиноамериканское «мыло», причём в количествах весьма умеренных. Гюльшен нечаянно проговорилась нашей хозлаборантке Клавдии Петровне, что она прекрасно понимает турецкий. С тех пор едва ли не каждый день в дверь нашей комнаты просовывалась голова Клавдии в бараньих завитках «химии»:

— Гюлечка, ты, кажется, толуол заказывала? Так я получила...

— Я не заказывала, — с отворачиванием говорила Гюля, но голова Петровны исчезала.

Это означало, что в комнате Клавдии собрались попить чайку её товарки — хозлаборантки из других отделов и складов, и Гюлю заманивают, чтобы прослушать перевод вчерашней серии.

— Ступайте, Гюльшен Газиевна! — цедил сквозь зубы Ашот.

— Почему я должна тратить на это жизнь?! — возмущалась Гюля. — Ведь он и дома заставляет меня смотреть эту гадость! Правда, — Гюлин голос немного теплел, — готовит сам и за мальчишками смотрит...

— Надо же бить милосердной! — Ашот вдруг становился необыкновенно многоречивым, бросал отвёртку и воздевал руки к потолку. — У этих жён больше ничего нет в жизни!

— Но у меня эксперимент! Лев Яковлевич!

— Как заведующий лабораторией, не возражаю! — кротко говорил Профессор. — В самом деле, Гюльшен, почему бы вам не получить толуол? А за вашим синтезом... Мне на совет... Эдвин, посмотрите?

— Конечно! — бодро отзывался Эдька — и Гюле тихонько, чтобы не услышал Ашот: — Ничего, мать! Скоро на панель пойдёшь за реактивы.

А Лев Яковлевич услышал и посмотрел укоризненно. Наши руководители лукавили. Клавдия Петровна и её подружки вряд ли нуждались в милосердии. Просто Ашот с одобрения Льва Яковлевича проводил хитроумную политику в отношении хозяйственных служб. А то ведь реактивов не допросишься! Сколько синтезов было запорото из-за того, что не хватило растворителя, а Петровне хоть кол на голове теши:

— Нету у меня! Ты не заказывала!

А в результате Гюлиных мучений у нас не только растворители всегда были, но даже ещё более дефицитная бумага для писания статей и отчётов. Да что Петровна! Аркадий рассказывал, что старший научный сотрудник из его лаборатории, почтенная дама, имевшая в жизни всё и даже больше, а именно: мужа-завлаба, работу, степень кандидата физ.-мат. наук, шикарную пятикомнатную квартиру в элитном «завлабовском» доме, дачу, машину, двух взрослых благополучных детей и даже маленькую внучку... Так вот, эта особа, сидя над расчётами, частенько мечтательно закатывала глаза:

— Девочки, давайте поговорим о «просто Марии»...

После этого начинались разговоры «такого уровня», жаловался Аркадий, что он предпочитал уходить в библиотеку.

Конечно, Гюльшен было невыносимо противно смотреть и пересказывать «эту гадость». Мы с ней, Тамаркой и Галиной Ковальчук, женой Анатолия Степаньча, зачитывались стихами Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, Тарковского, добытыми у московских знакомых и тщательно переписанными в тетрадочки ещё в студенческие годы. Я очень гордилась тем, что во время вступительных экзаменов в аспирантуру «открыла», найдя в библиотеке, и переписала почти всю тоненькую книжку Иннокентия Анненского.

— Учи лучше! А вдруг не поступишь? Хотя я тебя понимаю... — пугалась Тамарка, а потом радовалась: и я поступила, и Анненский был всё время при нас.

*Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка...
От неё даже дыму
Не уйти в облака.*

*Эта резанность линий,
Этот грузный полёт,
Этот нищенски синий
И заплаканный лёд!*

Я частенько читала эти стихи Эдьке зимними вечерами, когда мы оставались одни в лаборатории за многостадийным синтезом или томительно долгой хроматографической очисткой, сидя на высоких табуретах каждый под своей «тягой». Чаепития в нашей лаборатории, несмотря на усилия Гюли, почему-то так и не привились. Фарид уходил пить чай к аналитикам в комнату напротив, оттуда доносились взрывы хохота. Витя Дедович в кабинете Академика учил Светлану Иванову управляться с новым, только что полученным «двести восемьдесят шестым» компьютером. В мягкой, как бы обложенной ватой тишине вдруг раздавались странные звуки, похожие на уханье филина или крик какой-нибудь неизвестной науке ночной птицы... «Это Светлана Иванна хохочет», — объясняли мы испуганным новичкам-дипломникам. А за высокими окнами лаборатории плавными новогодними хлопьями падал и падал торжественный снег... Полюбил бы я зиму...

— Как это «обуза тяжка»? — не понимал Эдька.

— Ну, понимаешь, ты и хотел бы полюбить женщину, но чувствуешь, что трудно будет, тяжело...

— Понял, — быстро сказал Эдька. А вот я, наверное, поняла его только сейчас.

Из прозы мы читали-перечитывали и обсуждали Чехова, Лескова, Толстого... Помню, мне очень не хватало «подписного» синего с золотом восьмитомника Чехова, оставшегося в родительском доме. В девяносто первом я купила «с рук» точно такое же собрание сочинений 1970 года издания около книжного магазина на «Калужской» у старушки с интеллигентным лицом и заскоружлыми красными руками. А ещё раньше, в восемьдесят седьмом, я чудесным образом стала обладательницей четырёхтомника Юрия Трифонова. Такой, болотного цвета, знаете? Мы с девочками его потом до дыр зачитали, а начиналось всё в мае восемьдесят седьмого года в Будапеште.

Я там была на Международном семинаре по фотохимии. Боря Малковский из московского Института привёл меня в русский книжный магазин. Я сразу цапнула Аполлинера — издательство «Книга», 1985 год, потом «А.П. Чехов в воспоминаниях современников» — «Художественная литература», 1986. И вдруг увидела: Юрий Трифонов, первый том. А где же остальные?

— Скоро будут, второй том — недельки через две, — объяснила продавщица. — Можно оформить подписку.

Но я уезжаю через три дня!

— Плати, что-нибудь придумаем, — решил Боря.

Он оставался в Будапеште на следующую конференцию. Вскоре Боря привёз мне

второй том. Третий том ещё через три месяца передала Ирина Седых из Томского университета. А четвёртый том получал в магазине и передавал в Москву «для ученицы Льва» по высоким академическим каналам сам Тивадар Дьярмати — академик Венгерской академии наук и однокурсник Льва Яковлевича. Выпуск химфака МГУ 1956 года!

В начале восьмидесят восьмого в канцелярию Института поступил увесистый пакет без обратного адреса, почтовый штампель смазан. На конверте размашисто — «Кандидату химических наук Н.А. Коңдрацкой». Я пришла в ужас — кому я вдруг понадобилась в качестве кандидата наук? В конверте был изрядно потрепанный журнал «Дружбы народов» — номер первый за 1987 год. Юрий Трифионов, неоконченный роман «Исчезновение». Я так и не узнала, кто его прислал, и даже Боря Малковский остался в числе подозреваемых. Мы ведь с ним больше не виделись — в том же восьмидесят восьмом году он уехал навсегда в Израиль.

А «Исчезновение» с тех пор и поныне — моя любимая вещь у Трифионова. Тамара больше всего любила «Долгое прощание», Гюля — «Другую жизнь», а Галя Ковальчук, которая была постарше нас, — «Время и место». И только «Нетерпение» ни я, ни мои подруги не смогли тогда прочитать. Каждая бросала на третьей странице — там, где Андрей Желябов сжал в кулаке и сломал «железную немецкую игрушку, бородатого рождественского гнома», купленного для сына: «Они должны его возненавидеть». Прочитал весь роман только Анатолий Степаныч и говорил жене: «Какая трагедия!» Шёл восьмидесят девятый год...

7

Шла и наша... трагикомедия. По телевизору в «Новостях» многократно показали Нонкиного мужа Мишу Хапицкого, вдохновенно сражающегося с бабушками за сосиски в магазине «Диета», что на «Щёлковской». Потом уже в «Вестях», в рубрике «Курс доллара», долго мелькал мой однокурсник Саша Кузин, талантливый, все говорили, химик, ушедший работать в банк — «семью-то надо кормить». А в девяносто первом — нам с Андреем уже дали квартиру — я забрела за какой-то чепухой в единственный в Академгородке магазин хозтоваров. На крохотном кусочке свободного пространства рядом с кассой остолбенело стоял Анатолий Степаныч, посланный Галиной за стиральным порошком. Весь магазин занимала огромная, до потолка гора розоватых унитазов, напоминавшая пирамиду черепов на картине Верещагина «Апофеоз войны». Ничего больше в «Хозтоварах» не было. Мы со Степанычем, как две деревенские лошади, попавшие в большой магазин, долго дивились на это «воинственное великолепие». На одном из розовеющих «черепов» висела бумажка с такой умопомрачительной ценой, что я робко предположила:

— Это, наверно, за всю кучу?

— Похоже, что за один, — мрачно сказал Толя, всматриваясь в «Апофеоз». — Пошли отсюда! Мы чужие на этом празднике жизни.

Да, что это я... «В те дни, а вы их видели и помните в какие...» Лучше вспоминать о том баснословном восьмидесят шестом, когда казалось, что всё ещё впереди и теперь-то всё будет по-другому.

Мы с Эдькой защищались в один день. Мы — до обеда, а после обеда — Игорь Валерьевич, докторскую. Лев Яковлевич тщательно проследил, чтобы казённые фразы в наших введениях не совпадали, кое-что заставил исправить, и мы очень гордились проделанной литературной работой. И вдруг Игорь Валерьевич с пафосом общает:

— Одним из интереснейших путей утилизации солнечной энергии является преобразование её в химическую в искусственных системах, действие которых основано на принципе природного фотосинтеза, — это слово в слово из Эдькиного введения.

А дальше слово в слово из моего:

— Моделирование процесса фотосинтеза может привести не только к созданию систем, способных запасать энергию солнечного излучения в виде химических соединений, но и к более глубокому пониманию отдельных деталей этого природного

процесса.

Я списывала введение у Фариды, Эдька — у Кимыча, Фарид — у Ашота. Но Ашот-то точно ни у кого не списывал! И при чём здесь Игорь Валерьевич?! Он вообще из другой лаборатории! Мы недоумённо переглядывались, но Профессор слушал вполне безмятежно, а Фарид успокаивающе прошептал:

— У всех одни и те же заклинания...

Надо сказать, что защиты проходили у нас по-деловому. Банкеты устраивались только для своих, дома или в общежитии, потому что почти все члены учёного совета после заседания спешно уезжали в Москву на специальном институтском автобусе. И поэтому настоящий фурор произвела в перерыве ворвавшаяся в зал целая стая девушек — сотрудниц библиотеки, канцелярии, архива... Вереща: «Эдвин, поздравляем!» — насовали Эдьке целую кучу разнокалиберных букетов.

— Сколько поклонниц у нашего Эдвина! — задумчиво молвил Лев Яковлевич и посмотрел на меня с некоторым упрёком. Он не знал про Андрея. А Эдька, сосредоточенно перетасовав букеты, как младенца, на вытянутых руках вручил все цветы мне.

— Но твои дамочки обидятся!

— Это не дамочки.

— Кто скажет, что они не дамочки...

— Наташка, прекрати! Я тебя поздравляю!

Я была уже почти уверена, что это Эдька сидит напротив меня в маршрутке. Конечно, он сразу узнал меня, а теперь просто делает вид, что не узнаёт — характер-то «нордический»! Он хочет разыграть меня, чтобы в ответ на мой лепет «Молодой человек, вас не Эдвином зовут...» закричать:

— Наташка, ты что?! Это же я!

А тогда, в восемьдесят шестом, я таки донесла свой зуб мудрости до врача — через две недели после защиты и за неделю до свадьбы. Андрей заявил, что отказывается жить с моим зубом.

Боль была адская. Наверное, «заморозка» не подействовала. Я орала дурным голосом и дрыгала ногами, завалившись на спину в стоматологическом кресле.

— Ну-ну, потерпим, зубик немножко сложный, «восьмёрочка»... — бормотал сероглазый горбоносый доктор с огромными ручищами, поросшими рыжей шерстью.

Наконец, «виновник торжества» был мне предъявлен. Положительно, это рогатое чудовище не могло поместиться у меня во рту! Медсестра отвела меня на кушетку.

— Следующий! — провозгласил доктор.

Дверь робко открылась, и на пороге предстал белый, как полотно, Ашот.

— У вас талон на десять тридцать? — осведомилась медсестра.

— Нет... Я пятый биль, они все ушли... Наташша, вы так кричали...

— Ну вот, всех больных мне распугала, — проворчал доктор и, склонившись над Ашотом, вдруг ласково закурлыкал на совершенно непонятном языке, причём были явственно различимы слова «новокаин» и «аллергия»! Я так удивилась, что даже перестала ошупывать языком свой зуб, вернее, дырку в десне, заткнутую ватой.

— Ну, надо же! — вдруг радостно завопил доктор, разворачиваясь ко мне. — Точно такая же «восьмёрка»! Внизу слева! И анатомия точно такая же!

Вот радость-то! Тьфу! К карману докторского халата была прицеплена ранее ускользнувшая от моего внимания карточка:

Стоматолог-хирург

Маркарянц Алексей Артурович.

— А почему наш доктор совсем без акцента говорит? — спросила я Ашота, когда мы брели из поликлиники по усыпанной жёлтой листвой дорожке Академгородка.

— Он ростовский, — ответил Ашот и, потрогав щёку, добавил: — Отличный специалист...

Ашот рассказал, что когда-то все армянские фамилии оканчивались на «янц», но часть армян уехала — я забыла, куда и почему, — в Армении прошла реформа, букву

«цэ» убрали, а вернувшиеся так и остались Маркарянцами, Кнунынцами... Ашот знал всё на свете и не только про Армению, а я, к сожалению, не очень внимательно слушала. Не потому, что мне было неинтересно. Просто меня уже тогда тянуло на экзотику, а история Армении была такой же своей, привычной, навсегда родной, как русские буквы «ша» и «ща», пришедшие к нам, по словам Ашота, из древнего армянского алфавита... Как пышущие жаром пейзажи Сарьяна в Третьяковке... Как эти левитановские берёзы, что сейчас так привычно и щедро сыплют и сыплют золото нам под ноги...

8

Кстати, мы довольно поздно сообразили, что наша лаборатория являет собой идеальный интернациональный коллектив, в котором ни одна национальность не повторяется. Посудите сами: Ашот — армянин, Лев Яковлевич — еврей, Эдька — немец, Фарид — татарин, Гюля — азербайджанка, Витя Дедович — белорус, Володька Ким — кореец. Да, ещё я — Наташа Кондрацкая. А если прибавить наших друзей и постоянных «пришельцев» Тamarку Фераниди да Аркадия Раймовича Пельтонена — финна из Петрозаводска... Будто нас нарочно подбирали! «Не нарочно, но и не случайно, потому что нет ничего случайного», — скажет мне впоследствии Тамара, ставшая через много лет моей крёстной. А тогда мы это осознали тоже, хочется сказать, «случайно», исключительно благодаря Дедовичу.

Мы и не знали, что Витька белорус. Выяснилось это на комсомольско-молодёжном методологическом семинаре после доклада Дедовича на тему национальных отношений в Советском Союзе. Ну да, Дед ведь из Гомеля.

Семинар наш, руководимый Ашотом, был весьма примечательным явлением. «Клуб тайных диссидентов», — отзывался о нём парторг Анатолий Степаныч, усмехаясь в казацкие усы. В частных беседах, разумеется. Что мы только там не обсуждали! Помню, на меня невероятное впечатление произвёл доклад Миши Хапицкого. Тему не помню, что-то про экономику. Суть же доклада заключалась в том, что теперь, по мнению Миши, наступили качественно иные времена, когда не только из экономических, но и из самых высоких философских соображений выгодно не быть богатым, а напротив — иметь долги! Чем больше, тем выгоднее! Я-то всегда стеснялась просить в долг. Казалось, вот возьму у человека, а ему завтра не хватит на что-нибудь важное. Лучше уж перебуюсь, не голодаем же. И наоборот, радовалась, если кто-то просил у меня и было что одолжить. Не потому, что я такая уж альтруистка. Меня грела мысль, что если у меня бывают иногда свободные деньги, значит, я не такая уж не умеющая жить дурёха, как считали моя мама и свекровь. А оказывается...

Безусловно, Миша был прав. По его примеру и мы с Андреем взяли в Институте кредит на полторы тысячи рублей. Кредиты, выдаваемые всем молодым семьям, полагалось погасить из зарплаты в течение нескольких лет. На эти деньги мы отремонтировали квартиру, купили кое-какую мебель... И вдруг моя зарплата стала почти тысяча рублей в месяц! Вот и весь долг.

Да и вообще на семинарах было интересно. Одна беда — проходили они поздно, после работы, и я частенько на них засыпала. Задрёмывала, как лошадь в стойле, особенно когда родился Костька, и мы с Андреем работали «в смену», то есть я с восьми утра до трёх без обеда, а он с трёх... уж не знаю до сколько! Когда он приходил, мы с Костькой спали как убитые. Правда, говорят, что все мужики тогда на работе ночи напролёт играли на компьютерах. Ну, неважно. Главное, что в дни семинаров мне удавалось выторговать себе вечернюю смену. Умоляла Тamarку или Эдьку будить меня, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Тамара добросовестно толкала меня локтем в бок, а Эдька не будил никогда. Когда ребята поднимали крик, я просыпалась сама и шипела:

— Что, что он сказал? Кто, Кимыч сказал? А Дед что?

Эдька досадливо отмахивался:

— Шла бы ты домой, мать!

Крик поднимался часто. На семинар ходили не только комсомольцы и вовсе даже

не молодёжь. Беспартийный Лев Яковлевич, например. Галя Ковальчук. Светлана Иванна, давно выросшая, как вы понимаете, из комсомола. Иногда заглядывала Цветана Георгиевна. Завлабов и женщин ребята, конечно, не трогали. Зато как-то при- нялись изгонять Володьку Кима как вышедшего из комсомольского возраста.

— А чего вы тогда Ахмеджанова держите? — обиженно заорал Кимыч, выбра- сывая по-каратистски руку в сторону Фариды. — Он меня на год старше, я знаю!

Все загадели. Фаридик втягивал голову в плечи.

— Но ведь это замечательно, что не только молодёжь... и даже беспартийные... вот и я, например... Как вы считаете, Ашот? — обеспокоенно нашёптывал сидевший неподалёку от меня Лев Яковлич.

Ашот кивал, но помалкивал. Покричали, похохотали и оставили и Кимыча, и Фа- ридиуса.

Витя Дедович рассказал об ужасающей демографической ситуации в Белору- ссии. Рождаемость низкая, белоруссы исчезают, ассимилируются. Доклад его не выз- вал сочувствия. Ахмеджанов, выступавший в прениях, без особой грусти заметил, что да, русская культура, как более сильная, поглощает национальные культуры, и он, Фарид, живя в родной Бугульме, класса до восьмого был убеждён, что самовар — исконно татарское слово. Под сильным впечатлением была почему-то только Свет- лана Иванна.

— Ну и пусть едет к себе в Гомель и размножается, — возмущалась она после семинара. — Мы-то здесь чем можем помочь?!

Светлана была коренная, подмосковная. Чувствовала ли она, что скоро именно ей придётся «помочь» Деду в деле размножения? Через полгода после того присно- памятного семинара Витька отбил Светлану Иванну, бывшую старше его минимум на десять лет, у мужа-грузина, с которым у неё было четверо детей! Это произвело такой шок, что потом в течение целого года институтская общественность ничего не могла сказать по этому поводу. Они только разводили руками, пучили глаза и без- звучно разевали рты, как рыбы, вытасченные из воды. А когда родился Алесь Дедо- вич, все вдруг сразу с облегчением заговорили, что оно, пожалуй, и к лучшему, пото- му что Светлана с Вахтангом жили не то чтобы плохо, а как-то... странно. В самом деле, Вахтанг вечно пропадал неизвестно где, хотя его рабочее место, как теорети- ка, было дома, Светлана Иванна до поздней ночи ухала филином в кабинете Акаде- мика, а разнополые и разновозрастные дети воспитывали друг друга. Вот характер- ный эпизод из жизни этой семьи, рассказанный Анатолием Степанычем.

Ковальчуки жили в одном подъезде с Вахтангом и Светланой. И вот как-то июнь- ским вечером Толя, возвращаясь с работы, обнаружил беременную четвёртым ре- бёночком Светлану и троих старших детей на лавочке у подъезда. Оказывается, они забыли ключ и ждут папу, который неизвестно где.

— У тебя дверь на балкон открыта? — спросил Степаныч, решив залезть на бал- кон, выходящий на другую сторону дома, и открыть дверь изнутри. Толя благопо- лучно влез на второй этаж по раскидистой яблоне и вступил в комнату, казавшуюся огромной и таинственной в летних сумерках. Он прошёл в прихожую, повернул ко- лёсико замка и, услышав храп из другой комнаты, заглянул туда. На диване спали двое, пахло спиртным. Добропорядочный семьянин и верный муж, влюблённый в свою Галину с первого курса и по сей день, Степаныч каялся, что его первой неволь- ной мыслью было: «Вот молодец Вахтанг! Беременная жена с детьми под дверью сидит, а он тут с какой-то бабой...» Однако в следующее мгновение Толю прошиб холодный пот — он понял, что ошибся и залез в другую квартиру. Сейчас они про- снутся — парторг Института, забравшийся в чужой дом через балкон... Степаныч не рискнул выйти через дверь — вдруг хлопнет, выбрался на улицу тем же путём, как- им проник, и злобно сказал подошедшему Вахтангу:

— Пойди позвони соседям — пусть дверь закроют.

После развода не выдержавший срама Вахтанг уехал из Академгородка навсег- да. Но не к родителям в Тбилиси, как можно было ожидать, а в Сыктывкар. Научный центр Коми АССР славился сильной математической школой. Его отъезд вызвал к жизни другой анекдот-быль, принесённый с учёного совета Львом Яковлевичем.

Аспирант Вахтанга отчитывается о проделанной работе.

— Так, очень хорошо! А где ваш научный руководитель?

— Он уехал. В Сыктывкар.

Отчитывается аспирант Гриши Маргулиса.

— А где ваш научный руководитель?

— Он уехал... но не в Сыктывкар!

Бедный Лев Яковлевич! Через несколько лет наш Профессор тоже уедет «не в Сыктывкар». Он страшно не хотел уезжать, уговорила дочь, Елена Львовна. Ещё меньше была готова к отъезду Эсфирь Самойловна.

— Моя родина здесь, — говорила, сжимая сухонький кулачок, учительница химии, подготовившая для Академгородка несколько поколений учёных, — но ничего не делаешь, время идёт, Земля вертится... Надо ехать... Ради будущего Яшеньки...

Кулачок разжимался, и рука, кажется, смахивала слезинку — Эсфирь Самойловна быстро отворачивалась.

К сожалению, Эсфирь Самойловна не успела научить химии ни моего Костюку, ни мальчишек Ашота и Гюли. А учила она удивительно! Галя Ковальчук рассказывала, как восьмиклассник Антон, придя из школы, учинил допрос родителям.

— Мама! Папа! Вот скажите, есть ли в истории личность, которой вы восхищаетесь?

Дело было в ноябре девяносто третьего, и Степаныч ретировался от греха на балкон — покурить. Антон принялся обличать мать.

— Так как же, мама? У тебя есть идеал?

— Да, Чехов, Пастернак... — лепетала, чувствуя подвох, Галина.

— Мама! Ты же химик! А вот Эсфирь Самойловна сказала, что она восхищается, нет, боготворит... Менделеева!

9

Конечно, такому выдающемуся учёному, как Лев Яковлевич, не могли не найти применения в Израиле — он стал преподавать в каком-то университете на юге страны. Шеф здорово поддержал меня в девяносто восьмом, выбив грант для перевода своего учебника на английский. Переведённые главы я отсылала по электронной почте, а гонорар Лев Яковлевич направлял на мой счёт в сбербанке. Деньги мне выдавали недели через три.

— *Etogo ne mojet byt'!* — возмущался Профессор по «электронке». — Мне сказали, что деньги будут в Москве через день! Это наши бюрократы что-то напугали. Наташа, не волнуйтесь, я разберусь.

Я несколько не волновалась и убеждала Льва Яковлевича, что это не их, а наши бюрократы «крутят» несчастные двести долларов. Они, говорят, даже пенсиями не брезгают, а уж мой гонорар покрутить — сам Бог велел! Профессор не верил — наша страна даже после дефолта представлялась ему образцом справедливости. Он возмущался израильской безработицей и отношением к учёным: в его университете все уборщицы — кандидаты наук из Советского Союза! Я писала своему учителю, что и у нас теперь не лучше — и безработица, и отношение к учёным, а самое скверное — дети не хотят учиться, а только непрерывно пьют пиво и разговаривают матом...

— Наташа, поверьте, — отвечал Лев Яковлевич, — всё это преходяще. Я знаю, вы всё переборете! Как бы я хотел быть рядом с вами, но нам с Фирой уже поздно менять жизнь.

А Эсфирь Самойловна, так и не осилившая ни иврита, ни английского, всё плакала и порывалась вернуться домой с бывшим зятем, который не мог найти работу, стал выпивать и из-за этого разошёлся с Еленой Львовной. Конечно, никуда они не уехали. Елена Львовна, впрочем, тоже не процветала — кажется, это она одно время была уборщицей-кандидатом наук. Вполне вписался в жизнь на исторической родине только подросший Яшка. Он отслужил в армии, к огорчению деда наотрез отказался поступать в университет, торгует компьютерами, ходит в ермолке и фыркает на безработного отца за то, что тот побоялся на старости лет подвергнуть себя обрзанию.

Лев Яковлевич, как и Эдька, уехал довольно поздно, в девяносто пятом. А первым лабораторию покинул Володька Ким. Это произошло незаметно — командировки его в Голландию становились всё длиннее, потом был предложен контракт на год, а потом Кимыч с женой переехали в Америку. Навсегда. Володька присылал фотографии: он на лестнице своего дома под руку с женой, которая на полголовы выше его, и на самурайской физиономии Кимыча застыло точно такое же выражение блаженства, как на широком добродушном лице его толстухи Марианны. «Ваша прекрасная фламандка», — как в период Володькиного жениховства высокопарно величал её Лев Яковлич за пышные формы и пышные же рыжие волосы и за то, что Кимыч познакомился с ней в Голландии. Хотя, конечно, никакая она не голландка и не фламандка, а просто Маринка Зельцер — моя однокурсница.

Витя Дедович ушёл из Института, но остался в Академгородке. Я иногда встречаю его на улице. Он работает в какой-то непонятной фирме и на вопрос: «А ты куда ушёл?» — загадочно отвечает: «К себе».

В церкви мы с Тamarой часто видим Цветану Георгиевну. Она сильно постарела и уже не узнаёт меня на улице. По-прежнему заведует лабораторией, хотя часто болеет и просится на пенсию. Заставила таки Тamarку защититься: «Вы меня замечайте...»

Миша Хапицкий теперь владеет рынком и нескольких магазинов в Академгородке. Они с Нонкой живут в коттедже с башенками в новом районе за речкой Чернавкой.

— Да, Миша — миллионер, — важничает Нонка, — правда, пока не долларовый.

Неугомонный Фаридиус организовал театр где-то на юго-востоке Москвы. Он там и режиссёр, и ведущий актёр, и рабочий сцены... К стыду своему я так и не выбралась ни разу к нему на спектакль.

Ашот с Гюлей тоже было уехали. Сначала во Францию, потом в Канаду. Все думали — навсегда. Но они вернулись лет через пять. «Я хочу, чтобы родным языком моих сыновей был русский», — сказал Ашот. Гюльшен была рада возвращению по другим причинам. Ни во Франции, ни в Канаде ей не давали разрешения на работу, да и с мальчишками кому-то надо было сидеть. А дома, в Академгородке поочередно несли вахту бесчисленные бабушки и тётушки из Еревана и Баку. Теперь Гюля с Ашотом, кажется, чуть ли не единственные сотрудники, оставшиеся даже не в лаборатории, а на весь когда-то огромный отдел. Так и публикуются вдвоём в нашем журнале:

А.С. Аветисян, Г.Г. Махмудова. «Фотохимическое поведение нового супрамолекулярного ансамбля в магнитном поле»

Недавно мне позвонили в домофон: «Наталя Алексеевна? Это по поводу статьи...» Я открыла дверь и от неожиданности отпрянула. На пороге, сверкая белозубой улыбкой над роскошной, отливающей антрацитом ваххабитской бородой, стоял высоченный широкоплечий красавец. Настоящий абрек!

— Здравсьте, тётя Наташа! — сказал абрек с таким щемящим душу московским выговором, какого никогда не добиться мне, крымчанке, хоть проживи я здесь ещё тридцать лет. — Папа просил статью закинуть в редакцию, а это от мамы.

В пакетике была домашняя пахлава, а испугавший меня «ваххабит» оказался Серёжкой, Саркисом Аветисяном, старшим сыном Ашота и Гюльшен.

Аркадий после бесплодного и мучительного романа с Тamarкой (мучились, впрочем, главным образом Аркадьевы друзья и Тамарины подруги) женился на москвичке и переехал в Москву. Теперь он проректор одного московского вуза, с женой развёлся. Аркадий звонил мне в редакцию полгода назад, передавал привет от Эдьки, с которым встречался на симпозиуме в Италии. Доктор Эдвин Байер заведует лабораторией органического синтеза в небольшой компании, у него жена — русская немка и дочь — Наташа.

Внезапно запищал мобильник. У него, у Эдьки.

— Да, уже в Москве, подъезжаю. Через час буду...

Как же я могла принять за нашего Эдьку этого худосочного парня с тусклым голосом!..

В Москве накрапывал дождь. Мы выскочили из маршрутки и побежали к метро.